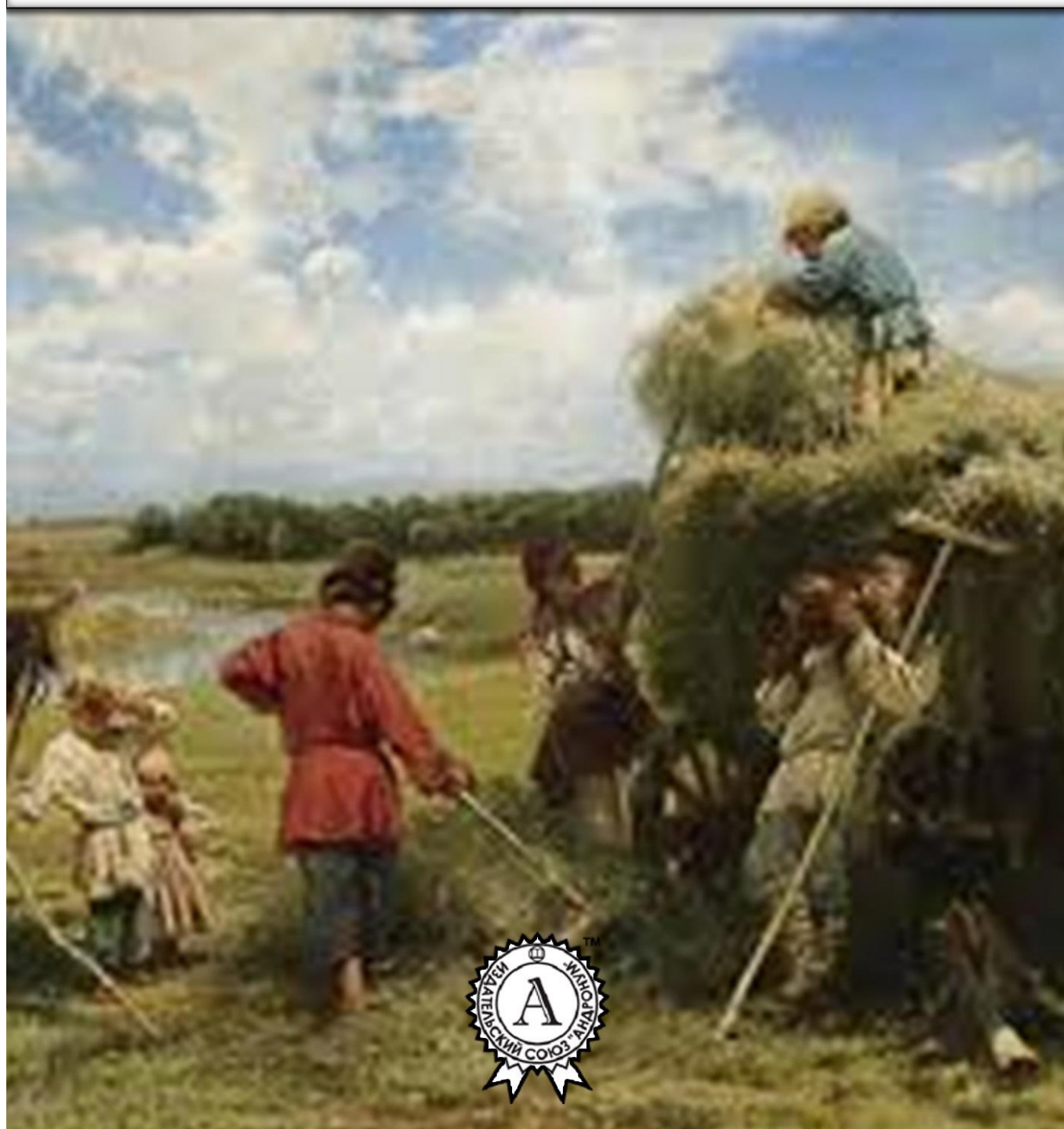


Д. В. Григорович

Переселенцы



«Переселенцы» — роман талантливого русского писателя-реалиста Дмитрия Васильевича Григоровича (1822–1900).

Это история о жизни бедного крестьянина Тимофея Лапиши и его семейства. В произведении подробно описан крестьянский быт, традиции и трудности, с которыми приходится сталкиваться простым рабочим людям.

Д. Григорович также известен как автор произведений «Бобыль», «Неудавшаяся жизнь», «Капельмейстер Сусликов», «Прохожий», «Смедовская долина», «Свистулькин», «Пахарь», «Кошка и мышка», «Пахатник и бархатник», «Акробаты благотворительности».

Дмитрий Васильевич Григорович стал знаменитым еще при жизни. Сам будучи дворянином, он прославился изображением быта крестьян и просто бедных людей.

Дмитрий Григорович ПЕРЕСЕЛЕНЦ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Заезжий торгаш

Только что наступили первые майские дни.

Было воскресенье. Благодаря отличной погоде и, особенно, праздничному дню улица сельца Марьинского снова оживилась, как только прошел послеобеденный час. До сих пор, то есть между полуднем и четырьмя-пятью часами вечера, большинство марьинских жителей отдыхало; на улице слышались только возгласы мальчишек, игравших в бабки на недавно просохнувших, но гладко уже утопанных лужайках; к этим крикам присоединялся теперь мало-помалу скрип ворот, которые пели на всевозможные лады; на завалинках показывались старики с заспанными глазами и включенными волосами, в которых виднелись соломенные стебли — знак, что народ перебрался уже на летние квартиры: в сараи и риги; к старикам выходили соседи. Группы вскоре увеличились присутствием старух с внучатами на руках и баб в пестрых праздничных передниках и писаных ярких головных платках. Старухи и бабы недолго, впрочем, останавливались у завалинок: они большею частью выходили на середину улицы и становились отдельными кучками, в которых тотчас же обнаруживался характер суеты и беспокойства; покажется ли баба в отдалении, ее уже никак не пропустят мимо: «Тетка Авдотья, а тетка Авдотья... куда ты... ась? подь к нам, касатка! а?..» Минуту спустя голос тетки Авдотьи дребезжит заодно с голосами ее товарок. На улице, освещенной лучами вешнего солнца, заметно уже склонившегося к западу, чаще стали появляться молодые девки, сопровождаемые неизменными их спутницами, маленькими девчонками; посмеиваясь в ладони и шушукая при встрече с парнями, девки направлялись к хлебному магазину, расположенному на одной линии с избами и отделявшемуся от последних ветлами. Там, под навесом, бросавшим желтоватую тень, которая делалась все сквознее и золотистее по мере того, как солнце опускалось к горизонту, собралась уже порядочная ватага молодежи; кто стоял, перешептываясь с соседкой, кто сидел, закрыв ладонью нижнюю часть лица и украдкой поглядывая на парней. Парни в свою очередь переминались с ноги на ногу и также молчали. Казалось, вся молодежь Марьинского собралась уже под навесом, но никто еще не подавал голоса; до сих пор по разговорной части отличалась одна лишь молоденькая бабенка с вздернутым, раздвоенным на конце носом и быстрыми карими глазами.

— Что ж вы, девки? а?.. Ну, что сидите руки-то скламши? а? полно вам, взаправду! — надсаживалась она, перебегая от одной группы к другой. — Становись в хоровод, хватайся за руки — ну!.. и-и-эх!

На горе-то мак, мак, Под горою так, так!..

— Что ж вы, красные? становитесь! «За-а-инька, беленький!» — подхватывала она, снова принимаясь петь, причем всякий раз зажимала глаза и выставляла напоказ ряд мелких белых зубов. — Что ж вы не подтягиваете? а? да ну же, ну! Полно вам спесивиться-то!

Но старания ее не подвигали дела; слышно было покуда, как щелкали орехи, как шушукали и втихомолку посмеивались; вообще под навесом царствовала та нерешительность, выражающаяся подталкиваньем локтем и вопросительными взглядами, которая предшествует девичьему веселью. Улица между тем все более и более оживлялась, говор усиливался; кой-где слышался хохот, кой-где раздавались нетерпеливые спорные возгласы; кой-где, и преимущественно из бабьих кружков, раздавалось дребезжанье, весьма похожее на звук битой посуды, которую положили бы в кастрюлю и начали бы трясти изо всей мочи; в одном из таких кружков сильное размахиванье руками и слишком уже часто повторяемые имена Домны и Дарьи служили несомненным доказательством, что там успели уже повздорить.

Наконец в дальнем углу амбарного навеса робко, вполголоса, затянули песню; повидимому, этого только и ждали: к голосам этим тотчас же присоединились другие. Подстрекаемые востроглазой запевалкой, парни и девки выступали из-под навеса, схватывались за руки и становились в круг; хоровод устанавливался. Еще минута, и, нет сомнения, звонкая песня заглушила бы уличный говор... но надо же было случиться, чтоб в эту самую минуту в околицу Марьинского въехал воз с красным товаром.

Въезд сопровождался таким неистовым, единодушным лаем собак, что все стоявшие спиной к околице невольно обернулись. Хозяин воза, или варяг — так называют в наших деревнях этих торгашей, — не успел подобрать ног от собак, которые, как ядра, летели к нему навстречу, как уж вся деревня заметила его появление. Началось с того, что бабы, хлопотавшие более других о примирении Домны и Дарьи, немедленно направились к возу. Достоинно замечания, что Домна и Дарья, предоставленные на собственный произвол, тотчас же успокоились; в голове Дарьи мгновенно возникла мысль о ситцевом переднике, который посулил купить муж, как только приедет торгаш; Домне пришла вдруг крайняя надобность прикупить тесемки; одна побежала отыскивать мужа; другая, поправляя головной платок, устремилась к торгашу. Примеру ее

последовали многие девки и парни. Из хоровода то и дело убывало, к великому неудовольствию. запевалки, которая давно уж была в ладоши и щелкала пальцами над головою; впрочем, она вскоре утешилась и побежала, куда бежали другие.

Спустя самое короткое время воз так облепили, и такая густая толпа окружила его, что старикам, сидевшим на завалинках, стали только видны шапка торгаша и верхний конец дуги над ушами его клячи. Все разом говорило, тискалось и осыпало расспросами торгаша, который решительно не знал, куда повернуть голову.

«Кумач есть?..» — «Покажи тесемку...» — «Почем иголки?..» — «Эй, слышь, на яйца меняешь?..» — «Девушки, касатушки, глянь-кась, серьги-то, серьги!..» — «Ой, батюшки, задавили!..» — «Куда лезешь?.. чего не видали?» — «А тебе небось одной глядеть-то хочца!.. ишь ее прет... Ну! ну!..» — «Ты, слышь, брат, отколева?..» — спрашивали невпопад с другой стороны.

Покупали, однако ж, очень мало; до сих пор торгаш отмерил только два аршина тесемки, сбыл моток ниток да муравленую глиняную дудку — и те, впрочем, променены были на яйца. Тем не менее все продолжали тискаться, спрашивали о цене каждой вещи, лезли друг на дружку, не шадя боков. Некоторые бабы, побойчее, взмостились даже на облучок воза. Хозяина окончательно затормошили. Бабы, сидевшие на облучке, видя, что толку не доберешься, принялись сами распорядиться: кто примерял наперсток, кто щелкал ножницами, кто накидывал на голову платок, кто прикладывал кусок ситца к переднику. Но и тут-таки более других показала себя востроглазая бабенка, так много хлопотавшая под амбарным навесом: повязавшись желтым платком, перекинув через голову полновесное ожерелье из цветных бус, она подпрыгивала на облучке и, показывая присутствующим раскрасневшееся смеющееся лицо, поминутно вскрикивала: «И-их-на!»

— Что ж это вы в самом деле, бабы?.. Эх их! — заговорил, наконец, торгаш, потряхивая шапкой, устроенной вроде кучерских шапок, с тяжестью на макушке, но тяжесть, вероятно от долгого употребления, съехала на сторону и образовала какой-то неуклюжий, тяжелый ком, находившийся в страшном противоречии с движением головы своего владельца. Ком этот то сползал на затылок, то свешивался на глаза, то переваливался справа налево, но всякий раз в сторону, противоположную той, куда наклонялась голова, — обстоятельство, не очень, по-видимому, беспокоившее хозяина; однако ж, несмотря на сильные эволюции верхней своей части, шапка все-таки плотно держалась на лысой голове.

— Ну, чего, чего лезете?.. Свести в вас нет, никакого постоянства нет! — подхватил старый торгаш голосом не столько сердитым, сколько поддразнивающим.

— Что ты на нас, касатик? разве мы? — бойко возразили две бабы, торопливо сбрасывая платки, — вишь вон энта-то... глянь-кась, вишь что наверхтела! Ей, небось, не скажешь, — прибавила одна из них, кивая головою на запевалку, которая никак не могла освободиться от ожерелья, украшавшего ее шею.

— Вот оборви нитку-то, рассыпь, рассыпь бусы-то! — сказал старик, протягивая руку. — Давай сюда... эка баба... давай!

— На, на, на, ешь! — возразила запевалка, освобождаясь, наконец, от ожерелья и отталкивая его с видом величайшего пренебрежения, — рассыпешь! — подхватила она, передразнивая старика и вспыхивая, — не видали дряни какой!.. Ты за другими-то лучше поглядывай! — заключила она, бросая недоброжелательные взгляды двум бабам, сидевшим насупротив.

— Ладно, ладно! слезай лучше до греха! — перебил старик. — Повернуться не дадут, облепили как!.. Покупать так покупать, а то что так-то языком болтать?.. Никакого в вас постоянства нет, бабы! право, нет! Слезай, говорю...

— А ну его взаправду, бабы! плюньте! вишь невидаль какая! — проговорила востроглазая бабенка, соскакивая с воза.

— Ладно, ладно!.. Эка заноза какая! право, заноза! Коли покупать не хотите, стало, стоять здесь нечего... одни пустые разговоры...

— И то, — промолвил какой-то мужик, до той поры стоявший совершенно смирно, — вон! чего лезете? вон! — неожиданно добавил он, принимаясь работать локтями.

Послышались хохот, писк, брань; толпа стала редеть. Немного погода под амбарным навесом раздалась песня, возвестившая, что хоровод снова устроился. Это обстоятельство еще заметнее очистило толпу вокруг воза. Вскоре осталось несколько мужиков и баб, которые не отошли прочь потому только, что в праздничный день делать нечего и надо же стоять где-нибудь.

— Поди ж ты, что наделали! не сообразишь никак!.. Взяли на два гроша всего, а разрыли мало что на пять рублей, — сказал старый торгаш, оглядывая присутствующих, которые засмеялись.

Торгашу было уж лет шестьдесят, но он представлял из себя еще свежего, здорового старика; лицо его, шея и руки сохраняли постоянно такую красноту, как будто старик никогда не сходил с банного полка, где его парили самым жгучим веником; краснота эта была отличительным и самым резким свойством его наружности, не лишенной веселости и прямодушия.

— Что станешь с ними делать, с бабами-то? — подхватил он, потряхивая голову над грудями взбудораженного товара и приводя в движение макушку шапки, — не соберешь никак... та: «дедушка, подай!», другая: «дедушка, покажь!» — никак не сообразишь... совсем затормошили!

— Ничаво не сделаешь! — отозвался кто-то.

— Известно, бабы — кто им рад? — проговорил рассудительным тоном мужик, исполнявший за минуту пред тем должность полицейского.

— Такой уж, видно, ихний род! — смеясь, заметил другой.

— И диковинное это, право, дело... — начал было снова старик; но третий мужик, малый лет тридцати, косой, как заяц, и рябой, как кукушка, который во все время предыдущего разговора ощупывал лошадь торгаша, рассматривал с величайшим любопытством его сбрую и подводу, перебил его:

— Отколева бог несет? — спросил он.

— Еду, то есть, откуда?

— Нет, каких примерно губерний? — подхватил рябой мужичок, укладывая локоть правой руки на облучок, а пальцами правой руки притрогиваясь к оловянным зеркальцам, сверкавшим из бумажного свертка.

— Губернии Ярославской, — словоохотливо возразил старик, — а вы, братцы, здешние?

— Здешние, — отозвались мужики, причем тот, который лежал на локте, приподнял угол бумаги, скрывавшей мотки с шелком.

— Ваша деревня как, братцы, прозывается... Марьинское?... так, что ли?

— Марьинское...

— Так и есть; стало, здесь... так и сказывали: на третьей версте, сказывали, от большой дороги, — проговорил старик, озираясь на стороны. — Скажите, братцы, нет ли у вас такого мужичка... Тимофеем звать?... не припомню только: Федосеев ли, Демьянов ли...

— Есть... Федосеева нет, а Демьянов есть.

— Какой-такой Демьянов? У нас трое Демьяновых. Вон насупротив один... вон...

— Эй, братцы! уж не Лапша ли? — ухмыляясь, спросил весельчак.

— Какой Лапша?

— А так прозвали у нас одного мужичка Лапшою... Лапша да Лапша — так и стали звать.

— Тебе, дядя, как сказывали?

— Сказывали: как въедешь, говорит, в околицу, на левой руке, тут и живет... никак пятая изба, никак шестая с краю... не помню...

— Ну так и есть, Лапша! — воскликнул рябой мужичок, отличавшийся любознательностью.

— Стало, есть какая надобность?

— Нет, брат его наказывал кланяться, — возразил старик, принимаясь за укладку товара.

При этом известии мужики переглянулись между собою, после чего глаза их с заметным любопытством обратились к старику, и все разом заговорили:

— Где ты его встрел?... где?... в коем месте?..

— Нонче зимою встрел, ехамши из Алексина.

— Ах он, разбойник! — закричали мужики в один голос.

Восклицание было так неожиданно и вместе с тем так единодушно, что торгаш невольно поднял голову и взглянул на них пристальнее.

— Что вы, братцы? — спросил он.

— Да ведь этот-то, что с тобой встрелся, первый что ни есть мошенник! — заговорили опять разом все присутствующие. — Вот уж никак пятый год в бегах. Тем только и спасся — бежал! Ему давно бы в Сибири быть...

— Как так?

— Да так! Таких делов наделал... и-и-и!..

— Он мне сказывал, как я с ним встрелся, сказывал, сапожным, вишь, мастерством занимается.

— Ах он, разбойник! — подхватили опять присутствующие.

— Где ты с ним встрелся? — спросил один из толпы.

— Точно, теперь как припомню... точно, чудно как словно, — начал старик. — Ехал я ноне зимою, пробирался к Алексину городу; недалече уж было до ночлега — может, этак верст пяток оставалось; уж примеркать стало... знамо, дело зимнее, день-то короткий, к тому и время такое было: метель, погода такая посыпала... Слез это я с воза-то, рукавицами похлопываю, сам иду подле лошаденки. Иду так-то, смотрю, вижу — идет впереди человек; с ним паренек... так, мальчоночек лет этак восьми, а может, и всех десять годков будет... Ну, поровнялись, нагнал их, поздоровались. Куда? примерно откуда? Разговорились... Стал это он у меня просить парнишку посадить, — посадил. Так и так, говорит, сапожным, говорит, мастерством пробавляюсь. «Это, говорю, сын у тебя?» — «Нет, говорит, чужой, в ученье взят...» А сам такой-то обдерганный: ни на нем, ни на парнишке полушубка нетути. Я и давай спрашивать: «Где ж, говорю,

поклажа-то у тебя? чай, струмент есть?» — «Жительство, говорит, имею поближности, в деревне; там, говорит, струмент оставил...» Такой-то словоохотный, спрашивает, куда еду. «Вы, говорит, везде слоняетесь; неравно, говорит, доведется в Кашире побывать, в нашей сторонке; там есть, говорит, сельцо такое, Марьинское прозывается... коли приведет бог побывать, говорит, спроси мужичка Тимофея» — сказал, как примерно найтить — «кланяйся ему; скажи, мол, брат поклон посылает...»

— Ну так, так! он и есть, он! Вишь, разбойник! — заговорили опять в толпе.

— Поди ж ты, что выдумал — а? сапожник! Ах он проклятый!.. И парнишка с ним... по отцу пойдет; уж это как есть что по отцу. То-то давно слухов-то не было... Поди ж ты! сказалси!

— Так, стало, паренек ему не чужак? — спросил удивленный старик.

— Какой чужак! Говорят тебе: сын, родной сын, — подхватили мужики, перебивая друг друга. — В те поры, как бежал от нас, в те поры и парнишку свою увел. Вот уж пятый год в бегах...

— О чем вы тут? — неожиданно спросил новый мужик, подходя к возу.

— Слышь, вот старик с Филиппом встрелся!.. Филипп, слышь, Лапши нашего брат, беглый-то.

Весть эта произвела, казалось, на новоприбывшего такое же точно впечатление, как и на его товарищей.

— Поди ж ты, какое дело! — проговорил торгаш, — а мне и не в догадку; думал, взаправду мастеровой.

— Вот нашел! Плут первый сорт, темный плут! Чудно, как он с тобою чего не спроворил. Знамо, такими делами живот кормит. Спроси, здесь всякий скажет... его по всей округе-то и то знают... Эй, Пантелей! подь сюда! — заключил вдруг рябой мужичок, принимаясь махать руками по направлению к околице, — слышь, эй! Филиппа видели, Лапши нашего брата... вот старик встрел...

— Где? в каком месте? — спросил, ускоряя шаг, Пантелей, человек мрачного и сурового вида, в котором, по черным и обгорелым рукам и носу, выпачканному сажей, нетрудно было узнать кузнеца.

— Далек, брат! не поймашь! А ты уж обрадовался, думал, возьмешь, — начал было весельчак, но другие мужики перебили его и заговорили вместе:

— Не нонче встрел, зимою, у Алексина... далеко, брат, не догнать...

— Вот, дядя, спроси у него, у него спроси: он ти скажет, какой-такой Филипп человек есть, — перебил в свою очередь рябой мужичок, стараясь обратить на себя внимание торгаша, — совсем было по миру пустил, совсем решил! — прибавил он, выразительно моргая на кузнеца. — Эй, ребята! Эй, слышишь? — довершил он, снова начиная махать руками и поворачиваясь то в одну сторону улицы, то в другую. — Эй, сват Нефед! ступай сюда: Филиппа видели. Лапши нашего брата... эй...

Даже без этого известия многие из пожилых мужиков и баб, не принимавших участия в хороводе, направлялись к возу. Достаточно ведь увидеть издали двух-трех человек, собравшихся около одного места, чтоб привлечь толпу; но при имени Филиппа, брата Лапши, каждый из подходивших ускорял шаг. Вскоре вокруг воза снова составился порядочный кружок. Рябой мужичок перестал между тем кричать: он торопливо передавал новость, переходя от одного к другому, — никто, однако ж, не хотел слушать: после первых двух слов каждый махал только рукою, отходил прочь и обращался с расспросами к торгашу.

— Надо полагать, братцы, этот Филипп дал себя знать... вишь, как вы о нем хлопчете! — сказал старик, которого начинало забирать любопытство.

Осажденный новыми расспросами, он очень охотно повторил встречу свою с Филиппом. Во время рассказа, прерывавшегося бранью, как только произносилось имя Филиппа, рябой мужичок ни на секунду не оставался в покое; его точно укусила ядовитая муха: каждый член его, каждая черта лица его, особенно глаза и брови, находились в страшной подвижности: он то подмигивал, то дергал за рукав соседа, приглашая его быть внимательнее, то обращался с пояснительными жестами, наконец не выдержал и неожиданно крикнул:

— Экой разбойник!

Выходка эта встретила на этот раз живое сочувствие в окружающих; крупная брань, как картечь, посыпалась отовсюду.

— Слышь, дядя! у этого, вон у этого две лошади увел! — вмешался рябой мужичок снова, указывая на кузнеца. — Две лошади увел, сам тебе скажет... Скажи, Пантелей, как дело-то было...

Глаза присутствующих мгновенно перешли от торгаша к Пантелею; но Пантелей обманул всеобщие ожидания: он упорно молчал, и только выражение его грубого лица да нахмуренные брови высказали чувства, пробуждавшиеся в нем при воспоминании о Филиппе.

— Кому он здесь только не враг? — сказал седой старик, — о сю пору все поминают. Даром пятый год слухов нет, всем на шею сел.

— Вор ворует — мир горюет. Кто ему, вору-то, рад!

— И парнишку-то свою погубил, окаянный! — прокричала некстати какая-то старуха.

— То-то, я чай, наш Лапша-то подивится, как проведает. Он думает, брата давно уж в живых нет; сам намедни сказывал...

— А ты и поверил! — сурово перебил кузнец Пантелей.

— На таких людей погибели нет; ничего им не делается, — заметил кто-то.

— Ну, а что, братцы, каков у вас этот-то брат? — спросил торгаш.

— Лапша-то?

— Да.

— Все единственно... такой же разбойник! — проговорил кузнец.

Выходка кузнеца не заключала в себе, казалось, ничего особенно забавного, тем не менее в толпе многие разразились хохотом: надо полагать, сближение, которое сделал кузнец между Лапшой и его братом, показалось присутствующим чересчур уж несбыточным, невероятным.

— Стало, такой уж, видно, весь ихний род: все одним путем-дорогой пошли! — произнес торгаш, покачивая головою, причем макушка его шапки обнаружила несколько раз намерение сорвать с плеч голову своего владельца.

— Вся семья таковская! один в одного! — упрямо подтвердил кузнец.

Снова некоторые засмеялись.

— Полно, брат Пантелей, полно! не грехи! — с укором произнес степенного вида мужик, молчавший до того времени. — Станешь так-то про других худо говорить, узнаешь и про своих. Коли говорить, так говори настоящее...

— Я и то настоящее говорю: мошенник — да и все тут! Степенный мужик досадливо махнул рукою и отвернулся.

— Известно, один брат грабит, другой концы хоронит, — сурово подхватил кузнец. — Слышь, не знает Лапша, жив ли брат — как же! Думаешь, как летось пастух наш встрел Филиппа у рощи, думаешь, этот не знал? Они заодно действуют. Ты верь ему, что он дурачком-то прикидывается, верь...

— Полно, говорю, — начал опять степенный мужик, — не чужим рассказываешь. Тот ограбил тебя — точно; ты на него и сердчай: говори кому хошь, всякой скажет: «грабитель». А этого позорить тебе не за что. Брат за брата не ответчик! Лежачего, брат, не бьют — не приходится!

— Уж это как есть...

Многие из присутствующих, в том числе и бабы, вступились за Лапшу.

— Ну вас совсем! — с досадливым нетерпением крикнул Пантелей и, толкнув плечом двух-трех соседей, пошел своей дорогой.

— Как распрогневался! не по вкусу, стало, пришло! — смеясь, заметили в толпе.

— Не пуще силен, не страшно! — сказал с пренебреженьем степенный мужик, вступившийся за Лапшу. — Знамо: ну, за что он его позорит? И без того обиженный человек кругом как есть. Через брата своего всего решил, да за его же худые дела отвечать должен.

— Это точно, настоящее говорит. Человек, точно, смирный, — отозвалось несколько голосов, в числе которых особенно прозвенел голос рябого мужика.

— Такой-то смирный, касатик, и... и... телята свои лижут! — опять некстати крикнула старуха.

— Кабы, как вот он говорит, заодно действовали, этот не сидел бы без хлеба. От мира не утайшься: все на виду! — подхватил степенный мужик, оставшийся, повидимому, совершенно равнодушным к поощрительным возгласам окружавших, — а то ведь мы видим: беднее ихней семьи не сыскать по всей округе...

— Уж очевидно, добре отощали, родимый, после брата-то, как брат-то убог, отощали добре, — снова вмешалась старуха.

— Ребят много: они пуще всего одолели! — заметила другая.

— Эх сказала! рази у него одного ребята-то! небось у всех есть! — проговорил полунебрежно, полунасмешливо высокий мужик с желтыми, как лимон, волосами.

Мужик этот, которого звали Мореем, один из всей толпы не вмешивался до сих пор в разговор; он только слушал, щурил глаза и почесывал затылок с таким видом, что никак нельзя было определить, сердится он или радуется.

— Что ж? он правду говорит: у кого достатки, и тем ребята в тягость; а вот как у Лапши их шестеро, знамо, сокрушают! — сказал степенный мужик, — только совсем не через это Лапша расстроился; главная причина: сам, через себя, а тут еще пришел да брат доконал.

— Так что ж? ему теперь поправляться надоть; радоваться надоть, что от худого человека ослобонился, — сказал торгаш.

— Вот поди ж ты! а он еще хуже стал жить.

— На него, касатик, напущено; лихой человек напустил! — неожиданно перебила все та же старуха.

Морей сомнительно покачал головою и недоверчиво усмехнулся; после этого лицо его сделалось вдруг, в одно мгновение ока, серьезным и даже гневным; он пригнулся к старухе и быстро, как словно выстреливая из пушки, прокричал ей в самое ухо:

— Напущено! Кто напустил? сам напустил!

После этого Морей снова впал в молчание и только улыбками выражал свое неудовольствие, когда вступались за Лапшу, что, скажем мимоходом, случалось довольно редко.

— Еще Господа Бога благодарить должен, что такая жена ему попалась, — сказал степенный мужик, — кабы не она кажись, не было бы у него с ребятенками-то ни хлеба прокормиться, ни рубашонки покрыться; так ходили бы нагишом, голодные!.. Не ему бы только ею владеть, потому, надо правду молвить, мужик пустяшный; только женой одной все и держится — голова всему дому!..

Во время этих объяснений старый торгаш не переставал заниматься укладкою своих товаров. Прикрывая воз кожей, он попросил, чтоб ему указали избу Лапши.

— Вон, седьмая с краю, от околицы; вон, что крыша-то обвалилась, ворота обдерганные! — заговорил, махая руками и двигая бровями, рябой мужичок, — то-то, я чай, подивится Лапша-то, как про брата проведает... особливо коли взаправду думал, брата давно в живых нет...

— Ах-э! — крикнул неожиданно Морей и схватил себя за голову.

— Что ты?

— Зачем я ему дал крупу-то! — крикнул Морей с видом отчаянья.

— Кому дал?

— Лапше! стал это просить, пристал: «дай да дай» — я ему и дал.

— Ну так что ж?

— Отдать, говорит, нечем, пропало, значит, добро! Ах-э! — заключил Морей, снова схватывая себя за голову.

— Ну что! есть о чем горевать! — сказал торгаш, — коли бедный человек, господь воздаст тебе за него. А я заеду к нему, погляжу, — промолвил он, как бы раздумывая сам с собою, — заехать все надобно, поклон отвезти: каков ни есть, все брат; одна полоса мяса — не оторвешь.

— Что говорить! — сказал степенный мужик, — только вряд порадуется, как проведает. Добре уж оchenно тот-то худую по себе память оставил.

Старик приладил на облучке, раскланялся с толпою и поехал к избе Лапши, сопровождаемый с одной стороны, рядом, беспокойным мужичком, который начал его убеждать переменить чеку, оказавшуюся, по его мнению, ненадежною, с другой стороны хороводной песней, которая то звенела в ушах, как сотня колокольчиков, то гудела, как шмель, смотря по тому, подхватывали ли бабы и девки, подстрекаемые востроглазой запевалкой, или подтягивали одни парни.

II. Лапша и его семейство

Подъехав к Тимофеевой избе, старый торгаш соскочил наземь, внимательно осмотрел, плотно ли увязана кожа, прикрывавшая товар, и пошел к воротам.

Напрасно искал он веревочки, которая обыкновенно приводит в движение деревянный засов, — засова не существовало, да и не к чему было: целых двух тесин недоставало в воротах, и будь они даже крепко замкнуты изнутри — все равно: каждый мог бы свободно проникнуть во двор. Старик покачал головою, отпер ворота и вступил на тесный топкий дворик; темные кривые столбы, изъеденные снизу сыростью, сверху червоточиной, еле-еле поддерживали серый, полусгнивший соломенный навес, выказывавший голые стропила; плетень огибал двор с трех сторон и составлял заднюю стену навесов; он сваливался фестонами то на один бок, то на другой, так что местами можно было бы рассматривать, что делалось у соседей, если б соседские плетни не отличались крепостью. В задней и самой темной части навеса находились еще ворота; в настоящую минуту они были настезь отворены и представляли посреди темноты, их окружавшей, яркое солнечное пятно, в котором рисовались, как на картинке, узенькая тропинка, протоптанная в крапиве, гряды огорода, изрытые копытами, и в отдаленье — рига, грозившая разрушением. Косые лучи заходящего солнца, обдавая ярким блеском всю эту заднюю часть владений Лапши, значительно еще скрашивали их пустоту и бедность.

Живые глазки старого торгаша снова перенеслись во внутренность двора; но смотреть было решительно не на что: если и выглядывало кой-где хозяйственное орудие, то все до такой степени было ветхо и запущено, что доброму мужику оставалось только плюнуть или пожать плечами. Солнечные, лучи, проходя сквозь щели плетней и дыры навесов, делали из двора Лапши какое-то подобие старого, брошенного решета. Дерево вряд ли даже годилось на дрова. Осмотревшись еще раз вокруг и видя, что никто нейдет, старик направился к дверям сеней¹; в это самое время на пороге сенных дверей показалась высокая худощавая женщина с лицом смуглым и энергическим; на руках ее покоился грудной ребенок.

— Кого тебе, батюшка? — не совсем ласково спросила она, остановясь и раскрывая удивленные глаза.

¹ Сени, примыкавшая к ним клетушка и задняя часть избы занимали почти половину двора.

— Здравствуй, касатка.

— Кого надо? — перебила она уж с явным нетерпением.

— Здесь живет мужичок... Тимофеем звать?..

— Здесь, — как будто нерешительно выговорила она; на лице ее пробежала тень неудовольствия; она не старалась даже скрыть его и промолвила сурово:

— Ты бы, батюшка, коли надобность есть, постучал с улицы, а то прямо на двор влез.

— Я, матушка, не за худым делом...

— Все одно: так лезть, без спросу, не годится — спросил бы прежде...

— Ты, видно хозяйка?

— Хозяйка.

— Дома муж?

— Дома.

С этими словами ворота заскрипели, и на двор вбежали сломя голову две чихающие овцы; с улицы послышался рев, бляенье и топот бежавшего стада, которое только что, вероятно, вогнали в околицу. Следом за овцами показалась молоденькая круглолицая девушка с хворостинкой в руке. Увидя чужого человека, она остановилась, поправила ветхий платок на голове и вопросительно взглянула на смуглую женщину.

— Маша, сходи за отцом, — сказала та, — он никак в ригу пошел: скажи, спрашивают, мол.

Девушка с заметною торопливостью направилась к задним воротам. Профиль ее фигуры резко обозначался в светлом отверстии ворот: ступив на тропинку, где снова осветило ее заходящим солнцем, она без оглядки бросилась бежать по направлению к риге. Видно было, что гости очень давно не заглядывали к Тимофею: появление нового, незнакомого лица приводило хозяйку в заметное недоумение; черные ее брови словно подергивало от внутреннего беспокойства; она глядела на старика такими глазами, как будто старалась дознаться, что могло привести его к ним. Чувство недоверчивости и подозрительности вообще свойственно простому народу, но бедные люди этого сословия присоединяют еще к этим двум свойствам пугливость, иногда вовсе даже ни на чем не основанную, но выходящую, вероятно, из сознания собственного бессилия и ничтожества.

— Надобность, что ли, есть до мужа-то? — спросила она с тою резкостью, которую обнаруживают обыкновенно недовольные, раздраженные люди, поставленные в необходимость скрывать свои чувства.

— Надобности никакой нет, — возразил старик, — только что вот повстречался я ноне зимою с братом мужа, наказывал кланяться.

Трудно выразить, какое действие произвели последние эти слова на хозяйку. Недовольное лицо ее мгновенно выразило испуг и замешательство; смуглые, энергические черты ее вдруг вытянулись, задрожали и покрылись желтоватою бледностью: но это продолжалось всего секунду; ужас ее мгновенно уступил место выражению злобы и ненависти.

— Так вот ты зачем, — крикнула она, быстро перенося ребенка в левую руку и принимаясь правой махать по воздуху, — ступай, ступай подобру-поздорову... не надуть нам ничьих поклонов, не нуждаемся! Брата нету у нас никакого... Коли кланяться велел, стало, насмех... Ступай, ступай! Отколева пришел, туда и ступай! Мы не нуждаемся...

— Я этих делов ваших не знаю, — перебил старик, ошеломленный этим потоком неприветливых слов. — По мне, пожалуй, пойду... Сказала бы: не надо — и делу конец; без крику этого ушел бы... Я ни в чем этом не причастен... потрудил только себя, к вам зашел, вас же жалеючи...

— Всех не пережалеешь, батюшка! мы и в этом не пуще чтобы нуждались, — возразила она как бы тоном оскорбления, но с меньшею, однако ж, запальчивостью. Кроткий, почтенный вид старика, очевидно, обезоружил ее; кроме того, и ребенок на руках ее от сильного движения и крика матери проснулся и заплакал.

— Все это ваше дело, на том, стало, и быть; но только сердчать так-то не надо бы... Вам же хотел послужить, а выходит, чуть взашей не вытолкали. Ну, спасибо, касатушка, спасибо...

Сказав это, старик, красное лицо которого превратилось в багровое, поправил шапку и готовился уже повернуть к воротам, когда глаза его встретили Тимофея². Тимофей торопливо ковылял по тропинке, сопровождаемый круглолицей девушкой.

Один вид приближавшегося мужика невольно уже как-то приводил на память данное ему прозвище. Нельзя сказать, чтоб он был чрезмерно тощ, белокур и длинен; но все существо его, казалось, насквозь проникнуто переминаньем и мямленьем. Ногами передвигал он довольно скоро, но они выступали нерешительно, путались и бились друг о дружку; туловище его с узенькою, глубоко впалою грудью и руки словно повиновались движению ног и колыхались без всякой видимой цели; лицом он был, как говорится,

² Так по крайней мере подумал старик.

беден, то есть худощав и невзрачен; оно сохранило желтоватый, болезненный вид, к чему примешивалось еще выражение какого-то беспокойного ожидания и пугливости. Он выступал вперед несколько наискось, бочком, на манер того, как ходят раки, тяжело кашлял и часто выпрямлялся, чтоб перевести одышку; даже зрение его казалось слабым: он щурил глаза, словно глядел на солнце. Ему было лет сорок пять с небольшим, но волосы его заметно уже начали вытираться на макушке; мягкие, как пух, но плоские, как трава, они свешивались длинными жиденькими прядями до бороды, которая была так редка, что позволяла различать очертание рта и острого, выдавшегося вперед подбородка. Словом, это был совершеннейший тип бессилия и слабости. Физическое бессилие, казалось, соответствовало в нем и нравственному. При взгляде на Тимофея приходила невольная следующая мысль; как это могло стать, чтоб у такого человека было такое множество детей? Достоин замечания, что большею частью люди этого рода, которые готовы, кажется, сейчас распасться на куски и еле-еле живы, производят почти всегда многочисленное поколение. Одна черта резко только и обозначалась во всей наружности Тимофея: то были брови; они отличались густотою и чернотою; но эта самая особенность служила, казалось, к тому лишь, чтоб окончательно досказать характер внешнего и внутреннего бессилия, проникшего все существо этого человека. Вступая в разговор или даже слушая кого-нибудь, он усиленно как-то приподымал то одну бровь, то другую, иногда даже обе вместе: он точно призывал на помощь какую-то небывалую силу и внутренне старался ободрить себя.

Разварная наружность Тимофея, вероятно заслужившая ему прозвище Лапши, поражала своим контрастом с наружностью его дочери, шедшей рядом; она не была хороша собою, но вся фигура ее дышала необыкновенною подвижностью и оживлением; в смуглых чертах девушки отражались энергия и ум, которые так резко отличали черты ее матери; черные выразительные глаза, окруженные длинными ресницами, и свежесть румянца, который играл на щеках вопреки стесненному воздуху избы, дыму и худой пище, составляли, вместе с молодостью, всю красоту Маши.

По мере того, однако ж, как приближался Тимофей, лицо торгаша принимало выражение обычной веселости.

— Э! знакомый человек! — воскликнул он, как только Тимофей показался под навесом. — Вот не чаял, не гадал! Так, стало, ты самый и есть Тимофей? — подхватил он, выступая вперед, между тем как дочь пошла к матери.

Встреча эта, по неожиданности своей, поразила удивлением и дочь и мать.

— Здорово, брат Тимофей, здорово! Вот господь привел свидеться... не думал, не гадал, что к тебе на двор зашел... аль не признаешь?

— Как не признать! — начал Лапша протяжным, грудным голосом, но вдруг закашлялся, схватился обеими руками за грудь и замотал головою.

Весть о приходе незнакомого человека, видно, еще сильнее взволновала его и потревожила, чем жену. Руки и ноги его дрожали.

— Как же! я тебя знаю, — продолжал он тем же нерешительным, робким грудным голосом, — не помню вот только, как звать...

— Неужто забыл? — простодушно воскликнул старик, откидывая голову назад, причем макушка его шапки съехала ему на глаза. — Дядю-то Василья забыл! И то сказать, много время прошло... Ах, Тимофеюшка, Тимофеюшка!.. А я, признаться, совсем уж было идти хотел... Хозяйка твоя добре на меня взъелась, так вот и рвет, со двора гонит... Мы, слышь, тетка, с мужем-то старые знакомые, — подхватил он, обращаясь к жене, которая с выражением удивления переносила глаза от гостя к мужу, — два года будет зимою... кабы не он, добрый человек, напался, я бы совеем и с возом-то доселева в Оке сидел: он, спасибо ему, подсобил... только нас двое тогда и было... С обозом, никак, ехал тогда!..

— С обозом, — возразил, едва оживляясь, Тимофей, — от своих поотстал тогда... под Каширой; точно, сошлись на реке... ты мне еще тогда целковый-рубль дал... за хлопоты...

— Что поминать об этом! Я век должен тебя помнить: кабы не ты...

— Да ты спроси у него, зачем пришел, — нетерпеливо перебила жена, выразительно указывая мужу на гостя. Тимофей замигал глазами.

— Кабы знал я примерно обо всех этих ваших делах, лучше бы и говорить не стал; как перед богом, не стал бы! — начал старик. — Вот что, брат Тимофей, слышь: ноне зимою, ехамши под Алексиным, повстречал я твоего брата; больше ничего; велел только кланяться...

Весть о брате произвела на Тимофея совершенно другое действие, чем на жену его: он не пришел в негодование, а, напротив, окончательно уже раскис; руки его опустились, голова свесилась — он весь опустился, как будто держался прежде помощью костылей, и костыли эти вдруг отняли.

— Что за диковина, право! Я, признаться, ума не приложу, о чем уж вы больно так сокрушаетесь, — сказал старик, разводя руками. — Знамо, худой человек, ну... ну, и бог с ним! Что слава-то худая, ну так что ж? Худые дела с ним и останутся — брат за брата не ответчик ни перед кем...

— Главная причина, — робко проговорил Тимофей, — на деревне проведуют...

— Это о чем?

— О том вот, что жив-то он и кланяться мне велел...

— Ну, брат Тимофей, в этом, признаться, виноват, погрешил. Главная причина, не знал я ничего об этих ваших делах, — произнес торгаш, — как быть-то! Начал спрашивать, где, мол, такой Тимофей живет, так и так, от брата, говорю, поклон привез... стали расспрашивать: тары-бары... ну, признаться, маненько, того... об этом потолковали... Ты не взыщи на мне, потому не знал я ничего этого...

— Проходу теперь не дадут! — проговорил Лапша, ударяя об полы руками с видом крайнего замешательства.

Все это, очевидно, столько же неприятно было жене, сколько и мужу. Неудовольствие ее особенно высказывалось взглядами, которые не переставала она бросать к той стороне двора, где располагались уличные ворота; она передала, наконец, ребенка дочери и нетерпеливо пошла к воротам; увидя нескольких баб, с любопытством смотревших к ней на двор, она выместила на них всю свою досаду.

— Ну, что стали?.. народ только тешить, — с сердцем сказала она, возвращаясь на двор, обращаясь к гостю и мужу, — коли есть о чем толковать, ступайте в избу!

— Зайди, добрый человек, — проговорил Лапша, переминаясь.

— Я бы ништо, пожалуй; время к вечеру, уж солнце садится... ехать погодить надо до завтра, — простодушно вымолвил старик, — опасаясь вот только насчет воза, как будто на улице оставить не годится... не тронули бы...

— Пожалуй, дочка поглядит, — сказал Лапша.

— Погляди, касатка, пока с отцом посижу, — подхватил старик. — Очень уж, вижу, убивается... надо, примерно, поговорить с ним... Хоша я и не причинен, а все как словно через меня дело-то вышло...

Девушка укутала ребенка в ободранную отцовскую овчину, висевшую на плечах ее, и, обменявшись взглядом с матерью, пошла к воротам. Катерина³ последовала за мужем и гостем. Войдя в избу, маленькую, тесную и курную, с почерневшей печью в левом углу, старик набожно перекрестился перед иконами.

В настоящую минуту в избе было очень светло; кроме того, что низенькие окна, обращенные к западу, пропускали красноватый блеск огненного заката, последние солнечные лучи, скользнув из-под длинных багровых туч, играли на правой стене; эти солнечные пятна, принимавшие вид пылающих угольев, разливали по всей избе золотисто-желтоватый полусвет, так что легко было различить предметы в самых дальних углах. В одном из них старик увидел женскую фигуру, сидевшую на лавочке. Приняв ее за родственницу хозяев, он поздоровался.

— Не взыщи, касатик, она ничего не смыслит, умом повредила, — сказал Лапша.

— С чего ж так?

— Так уж, видно, господу угодно, — подхватила Катерина, с явным намерением прекратить дальнейшие расспросы.

Гость сделал вид, будто остался доволен объяснением, но воспользовался первым удобным случаем, чтобы снова глянуть в угол. Безумная, которой всего было лет тридцать, сидела, поджав ноги и положив подбородок на колени; в руках у нее было полено⁴; оно было обернуто в тряпье; прижав полено крепко к груди и укачивая, как ребенка, она не переставала бормотать что-то скороговоркою под нос. Старик невольно покачал головою, но, встретив взгляд хозяйки, поспешил сесть на лавку подле Тимофея, который, казалось, все еще не успел оправиться от смущения: складки худенькой рубахи сильно изменяли дрожащим рукам и коленям; усиленно приподымая то одну бровь, то другую, он, видимо, старался ободрить себя; наконец после долгого переминая на одном месте, после взглядов, направленных к жене, которая прибирала что-то у печки, он кашлянул несколько раз и как бы собрался с духом.

— Где ж это ты... говорил, где... хм! хм! вишь одолел, проклятый... почитай... гм! почитай с самой вот осени... Где это ты... с ним встретился? — добавил он, сопровождая каждое слово пугливым взглядом, обращавшимся то к жене, то к гостю.

Катерина мгновенно отошла от печи и, судорожно скрестив на груди руки, нахмутив брови, остановилась подле разговаривавших. Гость очень охотно приступил к рассказу.

С первых же слов безумная перестала бормотать и подняла голову, едва прикрытую платком, из-под которого вырывались в беспорядке пряди белокурых волос; сначала она исключительно как бы занималась рассматриванием незнакомца; мало-помалу блуждающие голубоватые глаза ее остановились на одной точке, и лицо осмыслилось выражением страха; ноги ее свесились, шея вытянулась; с каждой секундой делалась она

³ Так звали Тимофееву хозяйку.

⁴ Истертое и почерневшее полено от долгого пребывания в руках.